

# ПРОЩАЙ, УЗУНКУЛЬ!

*Владимир Логвинов*

(Целинный дневник)

20 июля. С сегодняшнего дня я целинник. Решил на время сменить перо на орало. Правда, я не представляю, как буду управлять этим оралом.

Совхоз «Узункульский», Булаевского района. Третье отделение. Небольшой прудик с обрывистыми глинистыми берегами и зеленоватой водой. Поселок из саманных домиков. Вагончики и палатки. Здесь нам предстоит жить и трудиться.

Встречать нас пришел весь поселок. Управляющий отделением Андрей Александрович Деппершмидт, высокий и суровый на вид мужчина, достал из глубин кармана вчетверо сложенный листок и стал читать приветственную речь. Листок дрожал в его узловатых руках. Управляющий спотыкался чуть ли не на каждом слого. Потом смял в кулаке бумагу и заключил:

— В общем, ребята, мы вам здорово рады, это точно! Работы хватит всем. А теперь устраивайтесь, отдыхайте.

Ребята потащили рюкзаки и чемоданы в палатки и вагончики. Мне повезло — поселили в палатку «ветеран».

...Вечером мой земляк ставрополец Руслан Соловьев, весельчак и балагур, развернул меха баяна. Танцы и пляски. Неумолимой плясуньей оказалась одна невысокая полногрудая девушка в черной саржевой кофточке-безрукавке. Галя. Я удивился вот чему. Все приехавшие пришли на танцы в телогрейках или пуловерах — вечера здесь холодные. А Гале, хоть бы что, в безрукавке форсит. Холодно ли ей?

— Нисколечко, — ответила Галя. — У нас не полагается мерзнуть.

Я проводил ее. Галя рассказала о себе.

ЗНАКОМЬТЕСЬ!  
АВТОР АЛЬМАНАХА  
„СТАВРОПОЛЬЕ“.



целину приехала вместе с отцом с начала ее освоения. Первые дни ревела: тоскливо показалось после кубанской станицы. Кругом голая степь, ни кустика. Зимой бураны, носа не высунешь. А потом привыкла. Пошла работать дояркой.

В палисаднике возле Галиного дома — клумбы цветов, маки.

— Люблю цветы, — сказала Галя. — И еще сады, особенно когда цветут. Только, наверное, я никогда не увижу здесь садов.

Я заверил ее, что сады обязательно будут, Я говорил так убежденно, что даже сам в это поверил. Очень хотелось, чтобы девчонке этой любилось не под завывание вьюги, а под пенье птиц.

22 июля. Холодны казахстанские ночи. Холод проникает под одеяла и телогрейки, заставляя сжиматься сердца новоселов.

Раннее утро. Поселок проснулся. Но в палатке тишина, только слышно мерное дыхание спящих да шорох парусиновых оконных штор, волнуемых легким ветром. В палатку заходит дежурный.

— Ребята, вставайте, — негромко произносит он. Никакого результата. Тогда дежурный пробует мощь своих голосовых связок:

— Подъем!

Зашевелились кудлатые головы, полетели в сторону одеяла и телогрейки.

— Ой, лышенько мени! — по-бабы причитает Борис Помазкин. — Подымите мои везды, разогните мои суставчики.

— Бр-р... «Мерзавчика» бы сейчас.

— Где умывальник? Сергей, где умывальник?

— Ох, братцы, какой я сон видел!

Шум, говор, суета. В палатку заходит Юрий Фигатнер, наш усатый бригадир.

— Давайте, хлопцы, быстрее заканчивайте туалетный момент и — в столовую.

«Момент» — его любимое словечко. У него было много этих «моментов» — рабочий, обеденный, культмассовый. У нас начинался трудовой «момент».

23 июля. Девушек послали на прополку картофеля, а ребят — скирдовать сено.

Приехали в поле, разбились по звеньям. Агроном Кутуков подводил нас к «зародам» — кучам сена, сволоченным тракторами, объяснял, как надо скирдовать, советовал не плевать на ладони, иначе — кровавые мозоли.

Ладно, будем иметь в виду. Мы разделись до пояса — и началась наша целинная страда.

Сволоченное сено так спрессовалось, скрутилось жгутами, что его приходилось с трудом раздирать вилами. Пыль и сенная труха ели глаза, набивались в волосы.

Все, кроме Романа Андреева, старались вовсю. Андреев же под самыми различными предлогами отлынивал от работы: часто ходил к другому звену пить воду, сдирал со штанов колючки, пускался разглагольствовать о значении калорийного питания и пользе физического труда.

— А хорошо бы,— говорил Роман, опершись подбородком о держак вил,— хорошо бы сейчас сидеть в ресторанчике и потягивать холодное пиво. Представляете? Уважаю пиво. А еще я люблю ананасы. Предпочитаю сорта пернамбуко и цейлонский красный. А вы любите ананасы?

— Шевели вилами!— прикрикнул на него Юра Сидоренко.

Роман тыкал вилами в «зарод», но через некоторое время его подбородок снова покоился на держаке.

— Дайте мне миску каши и я переверну стог,— изрек он.

— Дать бы тебе по очкам,— ответил Юра.

— Нельзя, они денег стоят.

В этот день мы не выполнили нормы. Стог, несмотря на наши старания, получился косым, горбатым. Но нам он

казался изящным, этот наш первый стог. «Ну, как он выглядит?»— спросили мы агронома. «Бывают и лучше»,— уклончиво ответил тот.

31 июля. Проклятье сену! Руки мои, руки! Я не могу ими пошевелить.

Сегодня опять скирдовать. Обматываем пальцы бинтами, садимся в машину. Я содрогаюсь от мысли, что и сегодня целый день придется махать вилами.

Вечером — футбол. Играли команда совхоза «Ай да мы!» и студенческая «Вот это да!» Победили «Вот это да!» со счетом 12:3.

1—2 августа. Дождь. Сидим дома. Помогаем Борису Помазкину возить на быках воду, пилим и колем дрова. Руслану Соловьеву поручили копать яму.

— Работенка!— плевался Руслан, с остервенением швыряя лопатой комья земли.—Хоть в кино снимай.

Яму прозвали «Руслановским дворцом».

Боремся с полчищами мух.

Но основное наше увлечение — быки. Это были на редкость ленивые и равнодушные ко всему на свете кастраты. Каждый день за ними приходил дежурный по кухне. Чтобы придать себе духу, дежурный делал свирепое лицо, размахивал руками и кричал: «А ну, поднимайтесь, лежебоки!»

Быки медленно поворачивали головы к суетливо бегавшему человеку и снова принимались за жвачку, будто хотели сказать: «Кричи сколько тебе влезет. Ничего, пошумишь и отстанешь».

Но дежурный и не думал отступить. Ему не полагалось отступать. Ему надо было возить воду на кухню. Быки нехотя поднимались и шли влачить ярмо.

Их грозный вид, свирепый взгляд горячили кровь, будили страсти предков. Каждый ловил себя на мысли: «Я ли не матадор, черт побери!» Глаза у парней горели, как у расхोдившихся бойцов. Но дальше хватания за рога матадоры почему-то не шли.

Когда Борис Помазкин возил на быках воду, весь «табор» высыпал из палаток. Борис важно восседал на бочке и ревел от восторга:

— Берегись! Эй, залетный-и!..

Борис подъезжал к колодцу, наполнял бочку водой, отвозил ее на кухню и к бане.

Баня у нас была замечательная во всех отношениях. Низкая, кряжистая, черная от копоти, вся заросшая мхом и лишайником.

Чтобы натопить баню, нужен был талант. Нужно было знать, например, какими

дровами топить, как их класть в печку, под каким углом открыть дверку печи, чтобы появилась тяга.

Топить надо было долго, часа три-четыре.

Как только загорались дрова, баня наполнялась дымом. Дым валил отовсюду — из топки, из всех щелей дымохода. И только из трубы он не шел.

И еще одной особенностью обладал этот очаг цивилизации. В самое жаркое время в нем было прохладно, как в склепе. Нечего и говорить, что в непогожие дни в бане стоял собачий холод. Любители пара быстро окатывали себя ушатом и выскакивали оттуда, клацая зубами и дрожа всем телом.

Мы любили ее, нашу баню. Популярность ее могла соперничать разве что со столовой.

*4 августа.* Снова — сено.

Лучше всех трудится Федя Гирфанов, среднего роста, бритоголовый парень из Татарии. Федя, казалось, не знал усталости. Он вырывал из «зарода» целую копну сена и швырял ее на стог. Я спросил Федю, откуда у него такая силища?

— У нас в роду все коренастые,— ответил Федя. Я удивился: какой же он коренастый? Обыкновенный рост, хотя, по правде сказать, жгуты мускулов у него — не уколупнешь. Истинная красота наброска, как все настоящее, крепкое, здоровое. И если бы меня спросили, как удалось в короткий срок вызвать к жизни миллионы гектаров целины, что за люди ее поднимали, я бы указал на Федю Гирфанова, скромного до застенчивости и сильного парня. На Руслана Соловьева, этого никогда не унывающего парня, зубоскала с чудесной широченной улыбкой в двадцать дюймов. Десятки других мне знакомых парней, у которых, как и у Феде, все в роду коренастые.

...С каждой минутой гора сена становится выше. Я стою посредине стога, подхватываю вилами вороха, делаю «верх». Едва успели завершить стог, как на дороге показалась машина. В кузове — две фигурки в белых халатах. Это Наташа Преснова и Люся Петрий везут нам обед. Машина сворачивает на сенокос, останавливается. Люся снимает платок и размахивает им, а Наташа, сложив ладони рупором, протяжно кричит:

— Мальчишки-и!.. Обедать!

На лице Руслана плавают довольная улыбка.

— Родимые! — кричит он. — Не дайте

пропасть человеку во цвете лет. — Он вскарабкивается в кузов, отламывает от буханки хлеба здоровенный ломоть и протягивает миску поварам:

— Ну-ка, Наташка, плесни. Да погуще, со дна черпани. Вот это подходяще. — Он ставит миску на колени, истово хлебает борщ. Через минуту стучит ложкой по дну — просит добавки.

*7 августа.* Скирдовали. Соревнование с руслановцами. Поэзия труда. Как пахнет сено! Дождь. Спать хочется.

*8 августа.* Идет дождь, по какой-то причине не работаем. Я доволен этим. Не мешает отдохнуть и расшифровать запись вчерашнего дня. Вчера мы дали бой лучшему в отделении звену Руслана Соловьева.

Руслан скирдует сено вместе с Алексеем Раховым и Гришей Кучмаевым. Ребята все как на подбор — здоровые, сильные, работающие. Они с первого же дня взяли такой разгон, что никто за ними не мог угнаться. Мы решили с ними потягаться. Работать стало легче — тело уже не так ломило, как в первые дни, ладони покрылись твердыми буграми.

Нас охватило ощущение легкости, силы и удачества. Мы с криками бросались в атаку на кучи сена, раздирали их вилами, поддевали такие охапки, что шатались под их тяжестью, и бегом относили к скирду.

Колючки впивались в тело, комары облепляли руки, лицо, шею, пот струйками стекал по спине и груди, но мы не сбавляли темпа.

Солнце поднималось все выше, припекало все сильнее. Мы задыхались от жары, усталости и пыли. Кровь молоточками стучит в висках, все звуки отдалились, замерли. В голове стоит нудный протяжный звон.

Наконец Федя Гирфанов метнул последнюю охапку, воткнул в землю вилы и направился к фляге с водой.

Расстелив на траве рубашки, майки и брюки, ложимся, подставляем спины щедрому солнцу, испытываем невыразимо отрадное чувство покоя. По всему телу теплой волной разливается приятная истома.

Николай Мосеевский задумчиво покусывает былинку и глядит вдаль, где дрожит, переливается, изумрудными ручьями струится марево. Федя внимательно рассматривает стог, сравнивает его со стогом руслановцев.

— А ничего вроде получается, — не то

вопросительно, не то утвердительно говорит он.—Тонн восемь потянет, как ты думаешь?

— Восемь потянет,— соглашаюсь.

— Дадим сегодня две нормы?

— Должны бы... — И опять молчим, слушаем трели кузнечиков.

Отдохнув, мы идем с Федором к соседям, чтобы наполнить флягу водой из их бидона. Они тоже устроили перекур, лежат на траве.

— Бог на помощь, миряне,— солидно приветствуем их.

— Спаси Христос, работнички, в тон отвечает Руслан басом.

— Как работается?

— Ничего, топчемся помаленьку.

Возвращаемся на место, беремся за вилы.

После обеда расходимся по местам. Медленно бредем по полю к стогу, испытывая такую лень, что даже не хочется разговаривать. Возле скирда укладываемся на отдых.

Я смотрю, как по горизонту суевливыми стайками убегают легкие белые облака, прислушиваюсь к шороху сена, к дремотной трели кузнечиков и вдыхаю запах сена. О, этот запах! Неуловимо тонкий, пряный, одуряющий, он волнует, трогает душевные струны, навевает непонятную грусть, вызывает в памяти картины детства. В голове вертятся стихи Есенина.

*Коростели свищут... Коростели...*

*Потому так и светлы всегда*

*Те, что в жизни сердцем опростели*

*Под веселой ношею труда...*

Долго-долго гляжу вдаль, на эти просторы — молчаливые, величаво-торжественные — и чувствую себя далеким от всего мира, затерянной песчинкой в этом необъятном пространстве. И в то же время я чувствую себя как никогда спокойным, уверенным и — смешно сказать — властелином этой седой степи. Все мелкие, неурядицы, обиды, тщеславие кажутся, такими ничтожными.

...Проснулся я словно от какого-то внутреннего толчка. Глянул на часы. Ого! Полтора часа спали. Растормошил ребят. Хватаемся за вилы. Жара спала, повеяло прохладой. Работалось легко.

За нами подошла машина, но мы отказались ехать, решив во что бы то ни стало сегодня закончить скирд — работы оставалось часа на два. Бригадир оставил нам свою бричку.

Наконец стог завершен, «причесан»,

подобраны последние клочки сена. На лошади подъехал учетчик отделения Николай Епифанов, с преувеличенной любезностью поздоровался со всеми за руку. Николай был под хмельком, его тянуло на разговор. Он длинно и путано стал рассказывать о своей жизни, о том, что дирекция не ценит его труд, не выносит ему благодарностей, хоть я,— кто этого не, знает?—учетчик, есть главная фигура на целине. Наконец он замерил длину, ширину и высоту стога, достал из кармана пухлый засаленный блокнот и приступил к сложным вычислительным операциям.

— Тэк-с, десять метров,— бормотал он себе под нос.— Смотрим по шкале цифру десять, находим ее. Множим длину на ширину...

Он обвел в круг полученную в итоге цифру и сообщил: девять тонн. Мы так и ахнули — скирд тянул не меньше двенадцати тонн. Перемерили стог, начали подсчитывать сами. Сошлись на десяти с половиной тоннах.

Только учетчик уехал, как стал накрапывать дождь. Мы поспешно натянули рубашки и уселись в бричку — втроем на одно место. Не успели отъехать, как припустил проливной дождь. Но теперь он не страшен. Пусть идет! Мы даже радовались дождю. Нас охватило беспричинное веселье. Дождь хлестал вовсю. Мы дрожали от холода, тряслись по кочкам, сшибались лбами, но каждый окрик Феди на лошадь: «Но, шкура!» вызывал взрыв смеха.

Нам чертовски было весело. Нас даже не огорчило, что нам забыли оставить ужин (он был возмещен буханкой хлеба и двумя литрами молока), что руслановцы дали три нормы, а мы немногим более двух. Кажется, я никогда не испытывал такого ощущения полноты жизни и огромной радости, как в тот вечер. И может быть, в тот день понял, осязаемо ощутил значение Труда, этого великого источника вдохновения и подвигов.

*9 августа.* Потерялся Роман Андреев. Девчата вернулись с поля и сообщили, что Роман вместе с ними полон кукурузу, а потом как сквозь землю провалился. Все всполошились. На машине отправились в степь на поиски. Нашли его километрах в десяти от бригады.

—А я, братцы, заблудился,— простодушно ответил Роман.

Все были встревожены, взвинчены, и все набросились на несчастного Романа. Поздним вечером в палатке состоялось собрание, чтобы дать Андрееву взбучку.

Я должен сделать отступление, чтобы

было понятно, за что его обсуждали. Это был высокий нескладный человек. Вырос он в Москве и нигде, кроме Москвы, не бывал. Странно, но в свои двадцать три года он не видел колодцев, не слышал пенья петухов, не держал в руках топора и пилы. Андреев работал в аптечном управлении, поступил в МГУ на заочное отделение. Что его побудило ехать на целину — трудно сказать.

Роман спал по соседству со мной. Он долго набивал соломой подушку и матрас, потом вытянулся на постели и сказал:

— На такой подушке спят два раза — на целине и когда в гроб кладут.

Может, эти слова были сказаны без умысла, но на меня они произвели удручающее впечатление.

Роман не умел, да, по-видимому, и не хотел работать. Звено на скирдовании сена от него отказалось. Его заставили подвозить воду на быках. Большого испытания для Романа трудно было придумать. Волы категорически отказывались его слушаться. Смирные кастраты наводили на него ужас. Как-то он схватился за рога, бык мотнул головой, Роман подумал, что пришел его смертный час и истошно закричал:

— Караул!.. Спасайте!

Руслан, наблюдавший эту сцену, валился от хохота.

Быки словно насмеялись над своим хозяином. Они просто издевались над ним.

— Твари бессовестные! — дрожал от бешенства Роман. — Скоты!

В довершение всего быки однажды свернули сруб колодца, галопом понеслись по улице, перевернули бочку (Роман успел спрыгнуть) и чуть не разворотили кухню. Репутация водовоза была подорвана. Его назначили дежурным, по кухне, сторожем. В его обязанности вменялось также топить баню. Это нашу-то баню! Истопника из него не получилось. И тогда Романа послали полоть с девушками кукурузу. И вот — заблудился...

Крепкий был разговор на собрании. Романа даже хотели исключить из бригады. Дали последнюю возможность исправиться. И он нашел в себе силы переломить себя. Упросил управляющего послать его на уборку. Работал лафетчиком — и как работал! И это не новелла с хорошим концом. Не знаю, перевоспитала ли его целина. Но что он познал красоту рассвета, понял силу коллектива, испытал на себе, как достается хлеб насущный, — это точно.

10 августа. Вечером — танцы. Танцы

устраивались почти каждый день, если даже поздно возвращались с полей. Галя никогда не пропускала танцев. У нас с ней установились хорошие отношения. Она рассказывала о себе, о своих делах на ферме, о своих планах, мечтах...

С Сергеем Сергейчиком мы три раза были на ферме, проводили с доярками беседы (по партийной линии). Сергей попросил угостить его парным молоком.

— А вы сами подоите корову и пейте, — предложили девочки.

Сергей взял ведро, сел под корову. Он изо всех сил тянул соски, но молоко не выдаивалось. Тогда он обеими руками вцепился в вымя. Возмущенная буренка ударила ногой по ведру и дала стрекача. (После, еще издали завидя незадачливого дояра, она пускалась наутёк.) Сергею все же удалось подоить другую корову, но с трудом.

— А как же нам приходится доить по три раза в день целый гурт? — спрашивали доярки.

Действительно, труд нелегкий. Однажды возвращались с фермы на бричке. Галя задремала. И вдруг, во сне, она быстро-быстро начала делать руками движения, как при дойке коров. Потом еще раз, еще... Мне стало не по себе. Я проникся острой жалостью к этой девчонке с загрубевшими руками. Почему еще так мало обращают внимания на труд доярки? Почему на целине не механизмируются фермы?

5 августа. Копним сено. Как оно мне надоело! Уму непостижимо, сколько я его перекидал! Мне кажется, что ни директор совхоза, ни секретарь райкома, ни начальник управления сельского хозяйства, ни работники министерства никогда не копнили сена и понятия не имеют, какой это тяжелый малопроизводительный и малооплачиваемый труд. Иначе они позаботились бы направить сюда технику. Ведь то сено, которое мы копним без малого месяц, машинами можно было бы убрать за два-три дня. Есть же у нас машины для прессования, стогометатели. Есть же где-то они, должны быть. А вот приходится орудовать вилами.

Вечером около мастерской слушали лекцию «Боевой путь комсомола». Прочитала ее студентка-первокурсница Соня. Милая Соня, может, когда-нибудь из нее выйдет хороший лектор. Но сейчас это была не лекция, а детский лепет. Говорила она и про Комсомольск-на-Амуре, и про войну, и про целину, но бессвязно, путано, наивно.

— Вопросы есть? — спросила Соня,

кушая губы.

— Имеется.— Поднялся комбайнер Андрей Фролов.— Скажи, товарищ лектор, а почему это ваши героические комсомольцы бегут с целины?

— Как бегут?— растерялась Соня.

— А так. Приедут, покрутятся, узнают, почему фунт лиха — и лататы.

— Это, наверное, какие-нибудь несознательные,— ответила Соня.

— Да нет, бывало, и сознательные драпали.

Соня мяла в руках листки своей лекции и не знала что ответить. За нее говорили механизаторы. Говорили о том, что на целине еще много нерешенных проблем и главная из них — бытовая неустройка. Школы семилетней нет, учителей не хватает, клуба нет, с жильем туго...

— Так что же теперь делать?— растерянно спросила Соня.

Все засмеялись.

— Работать будем, девочка! Работать!— сказал тракторист Василий Калашников, который мог на удивление всем запросто поднять передок трактора.— Ты правильно толковала: несознательные бегут с целины. Мусор, главным образом. В дальнейшем так и говори: здорово, мол, комсомол трудится на целине.

*20 августа.* Слава богу, заканчиваем сено. Вечером в совхозном складе, который временно приспособили под клуб, состоялся концерт самодеятельности студентов и целинников. Пришел весь поселок.

Запомнилась Люся Петрий. Она читала стихи про мальчика, который влюбился в хорошую девочку Лиду. Я не узнавал насмешницу Люсю. Ее озорное конопатое лицо преобразилось. Она стояла на импровизированной сцене, заложив руки за спину и чуть запрокинув назад голову. Глаза ее то искрились усмешкой, лукавинкой, то становились задумчивыми, то вспыхивали вдохновенным огнем. Ей дано было чувство прекрасного. Мне казалось, Люся — такой человек, что во имя большой красивой мечты, не задумываясь, шагнет в огонь...

Как много может дать минута вдохновения!

*21 августа.* Ура, ура! Сто раз ура! С сеном покончено. Я еду убирать хлеб. Меня назначили машинистом лафетной жатки. Лафетчиком! Это слово звучало для меня так же, как капитан дальнего плавания, летчик-испытатель, полярник... Я старался говорить басом и не выдавать своего волнения. А

волновался, признаться, здорово. Хотя бы потому, что никогда в жизни не управлял этой машиной и в глаза ее не видел.

Мой напарник по второму лафету Ваня Денисов до начала уборки работал в мастерской, несколько дней косил ячмень. На правах старшего Ваня объяснил принцип работы жатки, систему управления, проинструктировал.

И вот агрегат из двух лафетных жаток двинулся. Застрекотали цепи, забарабанили валики, все закружилось, завертелось, запрыгало. Ну и поплясал я на этой жатке! Теперь только я уразумел полную сарказма фразу Вани: «Сиди да поплевай». Нервы были натянуты до предела. Я вертелся как белка в колесе, метался из стороны в сторону, едва успевал следить за высотой среза, за огрехами, за штурвалом. Нож «въедался» в плотную стену пшеничных массивов. Солому, застревавшую между валиками, то и дело приходилось проталкивать рукой. Не успеешь справиться с этим занятием, глядь — нож или землю грызет, или задрался кверху и стрижет одни колоски. Начнешь следить за высотой среза, а уж валы трещат от набившейся между ними массы или тянется за жаткой длинный огрех. Словом, сиди да поплевай... Но как бы там ни было, дело шло на лад. Срезанная пшеница катилась по полотну девятым валом. Моя пшеница. Я ее убираю.

Работали допоздна.

*1 сентября.* Идет дождь. Все эти дни записывать было некогда. Даже не доставал из кармана блокнот. Работа адова. Встаем с зарей и возвращаемся в двенадцать, в час, а то и в два часа ночи. Случалось, оставались ночевать в поле. Спать приходилось по три-четыре часа в сутки. Кажется, никогда так не хотелось спать, как в эти дни. Не успеешь лечь — и как в бездну проваливаешься...

Если бы на то моя воля, я бы поставил памятник добытчику хлеба и высек бы на нем такую надпись: «Кто бы ты ни был, прохожий,— кузнец, геолог, водитель поездов, учитель, летчик, поэт, лирический тенор,— поклонись хлеборобу, сними шапку перед целинным пахарем».

*3 сентября.* Косили пшеницу. Холодно. Мерзлы ноги. Ваня Денисов предложил делать «портянки» из бумаги.

Часто работа идет через пень-колоду. Поле неровное. Жатка, как лягушка, прыгает по бороздам и рытвинам. Когда делаем огрехи, тракторист Недякин плюется, мы с Ваней бежим вырывать полоски пшеницы и

складывать ее в валки.

У моей жатки часто рвется полотно. Жатку отцепляют. Снимаю балансир и принимаюсь колотить по заклепкам куском железа. Иногда просто случались из-за пустяка, из-за элементарной невнимательности. Как-то перед началом работы я тщательно смазал все подшипники, гуки, проверил механизмы, подкрутил гайки. Теперь-то уж, думалось, шпарь без остановки. Но не успели пройти и двух кругов, как мотовило оторвалось, взмыло вверх и грохнулось на землю. Причина? Вовремя не подкрутил одной маленькой гайки — и пришлось простоять полдня.

После об этом случае рассказал на сцене Роман Андреев. Он изображал Мефистофеля, которого неведомо каким ветром занесло на целину. В длинной черной рясе Роман мерял шагами сцену и демоническим голосом возглашал:

— Эка жара! Как в аду. Душу, что ль, закупить чью-нибудь или в карты с Гришиным перекинуться?.. А что там за чертовщина мотается вверх-вниз? Ба! Да это отлетело мотовило. Кто там копошится возле него? Денисов и Логвинов. О, силы небесные, как они грязны!..

Разумеется, не всегда приходилось терпеть неудачи. Чаще мы давали по полторы нормы и более, без передышки косили при лунном свете до поздней ночи.

*7 сентября.* Жатва идет полным ходом. Работают так, что приходится удивляться выдержке механизаторов. Люди не считаются ни с чем.

После работы, когда в небе высыпают крупные звезды, механизаторы, собираются у развилки дорог, ждут машины. Сбившись в тесный круг, делятся впечатлениями дня.

Подходит машина. Ее берут штурмом. Набирая скорость, машина мчит нас домой. Ветер свистит в ушах, забирается под ватники, леденит души. Но в нашей толчее весело. Вот впереди показывается повозка, освещенная фарами машины. В повозке лежит бригадир Леонид Напримеров, понукает лошадь.

— Леня, прокати!

— Не запали коня! — несутся с машины выкрики.

Леня приподнимает голову, машет рукой, и тотчас темнота поглощает его. Меня охватывает чувство острого, горячего участия и большой гордости за этого невысокого худощавого человека, скромнягу и трудягу. Он первым приезжает на поле и последним

возвращается домой. Целый день он в хлопотах, в движении. У кого бы ни случилась какая поломка — Леня тут как тут. В его повозке, как у дедушки Якова, чего только нет! Самые нужные детали и инструменты.

Как-то, разыскивая в его повозке нужную деталь, я нашел зачерствевший кусок хлеба. Я долго, как откровение, рассматривал этот хлеб, который раскрывал еще одну черту в характере бригадира. Леня сунул хлеб в солому и смущенно пробормотал:

— Забыл, понимаешь, захватить обед...

И вот сейчас он катит домой в своей повозке, усталый, продрогший на холодном ветру и голодный, потому что сегодня он опять забыл «захватить обед».

*9—10 сентября.* Из палаток перебрались в вагончики — холодно очень стало. Погода прескверная. Дождь со снегом. Ветер. Грязь. Не знаю ничего отвратительнее этой черной, липкой, чавкающей под ногами грязи. Она пудами прилипает к сапогам, она убивает настроение.

В вагончике холодно, грязно. Все время топим «буржуйку», по очереди бродим по поселку в поисках дров.

По радио передали развеселый очерк об уборке урожая в нашем совхозе. Автор бойко писал, как здорово и весело нам живется в палатках. Ребята от души посмеялись. Корреспондент даже не заходил к нам в палатки. Хватит бы уже палаток. И здорово, и весело, но — хватит.

Безделье и скука, гнилая погода утомляют, размагничивают. Все стали раздражительными, бранчливыми. Все байки и анекдоты рассказаны. Разговоры вертятся вокруг заработка, любовных утех. Должно быть, вот так и начинается духовный разлад. И тут, по выражению Фигатнера Юрия, на первый план выступает «самокритический момент». Тут надо взять себя в руки.

Жора Косарев из-за чего-то повздорил с бригадиром, кажется, из-за нарядов. Юрий терпеливо объяснял ему. Жора становился в позу обиженного, придирался, оскорбил бригадира. Он явно «нарывался». И тогда наш бригадир, дипломат, тактичный человек, сжал кулаки, подступил к Жоре и тихо, но очень внушительно пообещал:

— Если не перестанешь — изуродую. Даю слово.

Это подействовало отрезвляюще.

Руслан оставался верным себе. Спал без майки, по утрам умывался по пояс

холодной водой и все шутил. Его байкам, казалось, нет конца. «Бывает, и мне приходится не сладко,— сказал мне как-то Руслан.— И не хочешь, а шутишь. Надо же людей потешать, а то совсем скиснут». Молодчина Руслан!

*14 сентября.* Три дня, вернее, три ночи, работаем на току. Затор хлеба. Сырое зерно, если вовремя не обрабатывать, прет, горит. Налегали изо всех сил. Зернопульты или «зерноплюйки», как их здесь называют, захлебывались, выбивались из сил.

Вчера с Галей смотрели кинофильм «Молочница Хилья». Фильм крутили все в том же складе. В кино здесь ходят со своими стульями.

*15 сентября.* Прощай, Узункуль! До новых встреч, целина! С группой студентов-пятикурсников я уезжаю из совхоза. Проводить нас пришло все отделение. С поля приехал управляющий, запыленный и усталый. У него какое-то растерянное, сострадавшее лицо. Он заглядывал в кузов машины, осведомлялся, удобно ли будет ехать, не жестко ли, не надо ли еще соломки подложить.

— Ну, в добрый путь,— сказал управляющий.— Спасибо вам! Крепко вы нам помогли. Не обижайтесь, коли что.

Пришла Галя. Она стояла в стороне, около дома, крытого под черепицу. Девушка была в зеленой шелковой косынке, в новом платье. Галя держала в руках шляпку подсолнуха, грызла семечки и посматривала на машину. Взгляд ее как бы говорил: «Ну, вот и уезжаешь. И все это было ни к чему, я же говорила...»

Мне бы радоваться надо. Меня ждет отпуск, чистая постель, чистый костюм. Но почему-то вдруг так защемило сердце. Будто я покидаю нечто бесконечно мне дорогое, будто бегу от своего счастья.

...Долго еще виднелись два деревца на околице села, дом под черепицей.